

*Посвящается  
маркизе де Бриссак, княгине фон Аренберг*

## ПРОЛОГ

Стены больничной палаты, деревянная мебель — все, вплоть до металлической кровати, было выкрашено эмалевой краской, все прекрасно мылось и сияло ослепительной белизной. Из матового тюльпана, укрепленного над изголовьем, струился электрический свет — такой же ослепительно белый и резкий; он падал на простыни, на бледную роженицу, с трудом поднимавшую веки, на колыбель, на шестерых посетителей.

— Все ваши хваленые доводы не заставят меня переменить мнение, и война тут тоже ни при чем, — произнес маркиз де Ла Моннери. — Я решительно против этой новой моды — рожать в больницах.

Маркизу было семьдесят четыре года, он доводился роженице дядей. Его лысую голову окаймлял на затылке венчик жестких белых волос, торчавших, как хохол у попугая.

— Наши матери не были такими неженками! — продолжал он. — Они рожали здоровых детей и прекрасно обходились без этих чертовых хирургов и сиделок, без снадобий, которые только отравляют организм. Они полагались на природу, и через два дня на их щеках уже расцветал румянец. А что теперь?.. Вы только взгляните на эту восковую куклу.

Он протянул сухонькую ручку к подушке, словно призывая в свидетели родственников. И тут у старика внезапно начался приступ кашля: кровь прилила к голове, глубокие борозды на отечном лице покраснели, даже лысина стала багровой; издав трубный звук, он сплюнул в платок и вытер усы.

Сидевшая справа от кровати пожилая дама, супруга знаменитого поэта Жана де Ла Моннери и мать роженицы, повела роскошными плечами. Ей давно уже перевалило за пятьдесят; на ней был

бархатный костюм гранатового цвета и шляпа с широкими полями. Не поворачивая головы, она ответила своему деверю властным тоном:

— И все же, милый Урбен, если бы вы свою жену без промедления отправили в лечебницу, она, быть может, и по сию пору была бы с вами. Об этом в свое время немало толковали.

— Ну нет, — возразил Урбен де Ла Моннери. — Вы просто повторяете чужие слова, Жюльетта, вы были слишком молоды! В лечебнице, в клинике — где угодно — несчастная Матильда все равно бы погибла, только она еще больше страдала бы от того, что умирает не в собственной постели, а на больничной койке. Верно другое: нельзя создать христианской семьи с женщиной, у которой столь узкие бедра, что она может пролезть в кольцо от салфетки.

— Не кажется ли вам, что такой разговор вряд ли уместен у постели бедняжки Жаклины? — проговорила баронесса Шудлер, маленькая седоволосая женщина с еще свежим лицом, устроившаяся слева от кровати.

Роженица слегка повернула голову и улыбнулась ей.

— Ничего, мама, ничего, — прошептала она.

Баронессу Шудлер и ее невестку связывала взаимная симпатия, как это нередко случается с людьми маленького роста.

— А вот я нахожу, что вы просто молодец, дорогая Жаклина, — продолжала баронесса Шудлер. — Родить двоих детей в течение полутора лет — это, что бы ни говорили, не так-то легко. А ведь вы превосходно справились, и ваш малютка — просто чудо!

Маркиз де Ла Моннери что-то пробормотал себе под нос и повернулся к колыбели.

Трое мужчин восседали возле нее: все они были в темном, и у всех в галстуках красовались жемчужные булавки. Самый молодой, барон Ноэль Шудлер, управляющий Французским банком, дед новорожденного и муж маленькой женщины с седыми волосами и свежим цветом лица, был человек исполинского роста. Живот, грудь, щеки, веки — все было у него тяжелым, на всем как будто лежал отпечаток самоуверенности крупного дельца, неизменного победителя в финансовых схватках. Он носил короткую черную как смоль остроконечную бородку.

Этот грузный шестидесятилетний великан окружал подчеркнутым вниманием своего отца Зигфрида Шудлера, основателя банка «Шудлер», которого в Париже во все времена называли «барон

Зигфрид»; это был высокий, худой старик с голым черепом, усеянным темными пятнами, с пышными бакенбардами, с огромным, испещренным прожилками носом и красными влажными веками. Он сидел, расставив ноги, сгорбив спину, и, то и дело подзывая к себе сына, с едва заметным австрийским акцентом доверительно шептал ему на ухо какие-нибудь замечания, слышные всем окружающим.

Тут же, у колыбели, находился и другой дед новорожденного — Жан де Ла Моннери, прославленный поэт и академик. Он был двумя годами моложе своего брата Урбена и во многом походил на него, только выглядел более утонченным и желчным; лысину у него прикрывала длинная желтоватая прядь, зачесанная надо лбом; он сидел неподвижно, опершись на трость.

Жан де Ла Моннери не принимал участия в семейном споре. Он созерцал младенца — эту маленькую теплую личинку, слепую и сморщенную: личико новорожденного величиной с кулак взрослого человека выглядывало из пеленок.

— Извечная тайна, — произнес поэт. — Тайна самая банальная и самая загадочная и единственно важная для нас.

Он в раздумье покачал головой и уронил висевший на шнурке дымчатый монокль; левый глаз поэта, теперь уже не защищенный стеклом, слегка косил.

— Было время, когда я не выносил даже вида новорожденного, — продолжал он. — Меня просто мучило. Слепое создание без малейшего проблеска мысли... Крохотные ручки и ножки со студенистыми косточками... Повинуясь какому-то таинственному закону, клетки в один прекрасный день прекращают свой рост... Почему мы начинаем ссыхаться?.. Почему превращаемся в таких вот, какими мы нынче стали? — добавил он со вздохом. — Кончаешь жить, так ничего и не поняв, точь-в-точь как этот младенец.

— Здесь нет никакой тайны, одна только воля Божья, — заметил Урбен де Ла Моннери. — А когда становишься стариком, как мы с вами... Ну что ж! Начинаешь походить на старого оленя, у которого притупляются рога... Да, с каждым годом рога у него становятся короче.

Ноэль Шудлер вытянул свой огромный указательный палец и пощекотал ручку младенца.

И тотчас над колыбелью склонились четыре старика; из высоких туго накрахмаленных глянцевиных воротничков выступали их морщинистые шеи, на отечных лицах выделялись лишённые

ресниц багровые веки, лбы, усеянные темными пятнами, пористые носы; уши оттопыривались, редкие пряди волос пожелтели и топорщились. Обдавая колыбель хриплым свистящим дыханием, отравленным многолетним курением сигар, тяжелым запахом, исходившим от усов, от запломбированных зубов, они пристально следили за тем, как, прикасаясь к пальцу деда, сжимались и разжимались крошечные пальчики, на которых кожаца была тонка, словно пленочка на дольках мандарина.

— Непостижимо, откуда у такого малютки столько силы! — прогудел Ноэль Шудлер.

Четверо мужчин застыли над этой биологической загадкой, над этим едва возникшим существом — отпрыском их крови, их честолюбий и ныне уже угасших страстей.

И под этим живым четырехглавым куполом младенец побагровел и начал слабо стонать.

— Во всяком случае, у него будет все для того, чтобы стать счастливым, если только он сумеет этим воспользоваться, — заявил, выпрямляясь, Ноэль Шудлер.

Гигант отлично знал цену вещам и уже успел подсчитать все, чем обладает ребенок или в один прекрасный день станет обладать, все, что будет к его услугам уже с колыбели: банк, сахарные заводы, большая ежедневная газета, дворянский титул, всемирная известность поэта и его авторские права, замок и земли старого Урбена, другие менее крупные состояния и заранее уготованное ему место в самых разнообразных кругах общества — среди аристократов, финансистов, правительственных чиновников, литераторов.

Зигфрид Шудлер вывел своего сына из состояния задумчивости. Дернув его за рукав, он громко прошептал:

— Как его назвали?

— Жан-Ноэль, в честь обоих дедов.

С высоты своего роста Ноэль еще раз бросил цепкий взгляд темных глаз на одного из самых богатых младенцев Парижа и горделиво повторил, теперь уже для самого себя:

— Жан-Ноэль Шудлер.

С городской окраины донесся вой сирены. Все разом подняли головы, и только старый барон услышал лишь второй сигнал, прозвучавший более громко.

Шли первые недели 1916 года. Время от времени по вечерам «Цеппелин» появлялся над столицей, которая встречала его испу-

ганным ревом, после чего погружалась во тьму. В миллионах окон исчезал свет. Огромный немецкий дирижабль медленно проплыл над потухшей громадой города, сбрасывал в тесный лабиринт улиц несколько бомб и улетал.

— Прошлой ночью в Вожираре попало в жилой дом. Говорят, погибло четыре человека, среди них три женщины, — проговорил Жан де Ла Моннери, нарушив воцарившееся молчание.

В комнате наступила напряженная тишина. Прошло несколько мгновений. С улицы не доносилось ни звука, только слышно было, как неподалеку проехал фиакр.

Зигфрид снова сделал знак сыну, и тот помог ему надеть пальто, подбитое мехом; затем старик опять уселся.

Чтобы поддержать беседу, баронесса Шудлер сказала:

— Один из этих ужасных снарядов упал на трамвайный путь. Рельс изогнулся в воздухе и убил какого-то несчастного, стоявшего на тротуаре.

Неподвижно сидевший Ноэль Шудлер нахмурил брови.

Поблизости вновь протяжно завывла сирена, госпожа де Ла Моннери манерно прижала указательные пальцы к ушам и не отнимала их, пока не восстановилась тишина.

В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и в палату вошла сиделка. Это была рослая, уже пожилая женщина с поблекшим лицом и резкими жестами.

Она зажгла свечу на ночном столике, проверила, хорошо ли задернуты занавески на окнах, потушила лампу над изголовьем.

— Не угодно ли вам, господа, спуститься в убежище? — спросила сиделка. — Оно находится здесь же, в здании. Больную нельзя еще трогать с места, врач не разрешил. Быть может, завтра...

Она вынула младенца из колыбели, завернула его в одеяло.

— Неужели я останусь одна на всем этаже? — спросила роженица слабым голосом.

Сиделка ответила не сразу:

— Полноте, вы должны быть спокойны и благоразумны.

— Положите ребенка вот здесь, рядом со мной, — проговорила молодая мать, поворачиваясь спиной к окну.

В ответ на это сиделка лишь прошептала: «Тише!» — и удалилась, унося младенца.

Сквозь открытую дверь роженица успела разглядеть в синеватом сумраке коридора тележки, в которых катили больных. Прошло еще несколько мгновений.

— Ноэль, я думаю, вам лучше спуститься в убежище. Не забывайте, у вас слабое сердце, — проговорила баронесса Шудлер, понижая голос и стараясь казаться спокойной.

— О, мне это ни к чему, — ответил Ноэль Шудлер. — Разве только из-за отца.

Что касается старика Зигфрида, то он даже и не старался подыскать какое-нибудь оправдание, а сразу поднялся с места и с явным нетерпением ждал, когда же его проводят в убежище.

— Ноэль не в состоянии оставаться в комнате во время воздушных тревог, — прошептала баронесса госпоже де Ла Моннери. — В такие минуты у него начинается сердечный приступ.

Члены семьи де Ла Моннери не без презрения наблюдали за тем, как суетятся Шудлеры. Испытывать страх еще можно, но показывать, что боишься, просто непозволительно!

Госпожа де Ла Моннери вынула из сумочки маленькие круглые часики.

— Жан, нам пора идти, если мы не хотим опоздать в Оперу, — проговорила она, выделяя слово «Опера» и подчеркивая этим, что появление дирижабля не может ничего изменить в их вечерних планах.

— Вы совершенно правы, Жюльетта, — ответил поэт.

Он застегнул пальто, глубоко вздохнул и, словно набравшись смелости, небрежно прибавил:

— Мне еще нужно заехать в клуб. Я отвезу вас в театр, а потом уеду и возвращусь ко второму акту.

— Не беспокойтесь, мой друг, не беспокойтесь, — ответила госпожа де Ла Моннери язвительным тоном, — ваш брат составит мне компанию.

Она наклонилась к дочери.

— Спасибо, что приехали, мама, — машинально проговорила роженица, ощутив на своем лбу торопливый поцелуй.

Затем к кровати подошла баронесса Шудлер. Она почувствовала, как рука молодой женщины сжала, почти стиснула ее руку; на мгновение она заколебалась, но затем решила: «В конце концов, Жаклина мне всего лишь невестка. Раз уж уходит ее мать...»

Рука больной разжалась.

— Этот Вильгельм Второй настоящий варвар, — пролепетала баронесса, пытаясь скрыть смущение.

И посетители поспешно направились к выходу: одних гнала тревога, другие торопились в театр или на тайное свидание; впереди

шли женщины, поправляя булавки на шляпах, за ними, соблюдая старшинство, следовали мужчины. Затем дверь захлопнулась, наступила тишина.

Жаклина устремила взор на смутно белевшую пустую колыбель, потом перевела его на слабо освещенную ночником фотографию: она изображала молодого драгунского офицера с высоко поднятой головой. В углу рамки была прикреплена другая, маленькая фотография того же офицера — в кожаном пальто и в забрызганных грязью сапогах.

— Франсуа... — едва слышно прошептала молодая женщина. — Франсуа... Господи, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось!

Глядя широко раскрытыми глазами в полумрак, Жаклина вся превратилась в слух; тишину нарушало лишь ее прерывистое дыхание.

Внезапно она различила далекий гул мотора, доносившийся откуда-то с большой высоты, затем послышался глухой взрыв, от которого задрожали стекла, и снова гул — на этот раз ближе.

Женщина вцепилась руками в край простыни и натянула ее до самого подбородка.

В это мгновение дверь отворилась, в нее просунулась голова с венчиком белых волос, и тень разъяренной птицы — тень Урбена де Ла Моннери заметалась на стене.

Старик замедлил шаги, потом, подойдя к кровати, опустился на стул, на котором несколько минут назад восседала его невестка, и ворчливо сказал:

— Меня никогда не занимала опера. Лучше уж я посижу здесь, с тобой... Но что за нелепая мысль рожать в таком месте!

Дирижабль приближался, теперь он пролетал прямо над клиникой.

## Глава I

### СМЕРТЬ ПОЭТА

#### 1

Воздух был сухой, холодный, ломкий, как хрусталь. Париж отбрасывал огромное розовое зарево на усеянное звездами и все же темное декабрьское небо. Миллионы ламп, тысячи газовых фона-



рей, сверкающие витрины, световые рекламы, бегущие вдоль крыш, автомобильные фары, бороздившие улицы, залитые светом театральные подъезды, слуховые оконца нищенских мансард и огромные окна парламента, где шли поздние заседания, ателье художников, стеклянные крыши заводов, фонари ночных сторожей — все эти огни, отраженные поверхностью водоемов, мрамором колонн, зеркалами, драгоценными кольцами и накрахмаленными манишками, все эти огни, эти полосы света, эти лучи, сливаясь, создавали над столицей сияющий купол.

Мировая война окончилась два года назад, и Париж, блестящий Париж, вновь вознесся в центре земной планеты. Никогда еще, быть может, поток дел и идей не был столь стремительным, никогда еще деньги, роскошь, творения искусства, книги, изысканные кушанья, вина, речи ораторов, украшения, всякого рода химеры не были в такой чести, как тогда — в конце 1920 года. Доктринеры со всех концов света изрекали истины и сыпали парадоксами в бесчисленных кафе на левом берегу Сены, в окружении восторженных бездельников, эстетов, убежденных ниспровергателей и случайных бунтовщиков — они каждую ночь устраивали торжище мысли, самое грандиозное, самое удивительное из всех, какие только знала мировая история! Дипломаты и министры, прибывшие из различных государств — республик и монархий, — сталкивались на приемах в пышных особняках неподалеку от Булонского леса. Только что созданная Лига Наций избрала местом своей первой ассамблеи Часовой зал и отсюда возвестила человечеству начало новой эры — эры счастья.

Женщины укоротили платья и стали коротко подстригать волосы. Возведенный еще при Луи Филиппе пояс укреплений — поросшие травой валы и каменные бастионы, — в котором Париж чувствовал себя удобно целых восемьдесят лет, это излюбленное место воскресных игр уличных мальчишек, внезапно показался тесным, старинные форты сносились с лица земли, рвы засыпались, и город раздался во все стороны, заполняя огороды и жиденские садики высокими зданиями из кирпича и бетона, поглощая старинные часовни бывших пригородов. После победы Республика избрала своим президентом одного из наиболее элегантных людей Франции; через несколько недель он стал жертвой безумия<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Речь идет о Поле Дешанеле, который был президентом Франции в 1920 г.

Больше чем когда-либо олицетворением Парижа в те годы считалось общество, верховным законом которого был успех; двадцать тысяч человек захватили и держали в своих руках власть и богатство, господство над красотой и талантами, но положение и этих баловней судьбы оставалось неустойчивым. Пожалуй, их можно было сравнить с жемчугом, который тогда особенно вошел в моду и мог служить их символом: встречались среди них настоящие и поддельные, отшлифованные и не тронутые резцом; нередко приходилось наблюдать, как в несколько месяцев меркла слава самого блестящего человека, а ценность другого перла возрастала с каждым днем. Но никто из двадцати тысяч не мог похвалиться постоянным, ярким, слепящим сиянием — этим подлинным свойством драгоценного камня, все они поблескивали тем тусклым, словно неживым, светом, каким мерцают жемчужины в глубинах моря.

Их окружали два миллиона других человеческих существ. Эти, видно, не родились на путях удачи либо не сумели добиться успеха или даже не пытались его достичь. Как и во все времена, они делали скрипки, одевали актрис, изготавливали рамы для картин, написанных другими, расстилали ковры, по которым ступали белые туфельки знатных невест. Те, кому не повезло, были обречены на труд и безвестность.

Но никто не мог бы сказать, двадцать ли тысяч направляли труд двух миллионов и обращали его себе на пользу, или же два миллиона, движимые потребностью действовать, торговать, восхищаться, ощущать себя причастными к славе, увенчивали избранных диадемой.

Толпа, ожидающая пять часов кряду, когда же наконец проедет королевская карета, испытывает больше радости, чем монарх, приветствующий из экипажа эту толпу...

И все же люди уходящего поколения, те, к кому старость пришла в годы войны, находили, что Париж клонится к закату вместе с ними. Они оплакивали гибель истинной учтивости и французского склада ума — этого наследия восемнадцатого века, которое, по их словам, они сохранили в неприкосновенности. Они забывали, что отцы их и деды в свое время говорили то же самое, забывали также и то, что сами прибавили многие правила к кодексу учтивости и обрели «разум» — в том смысле, в каком они теперь употребляли это слово, — лишь под старость. Моды казались им слишком утрированными, нравы — слишком вольными: то, что во времена их юности почиталось пороком, то, что они всегда либо отвергали, или уж,

во всяком случае, скрывали — гомосексуализм, наркотики, изощренный и даже извращенный эротизм, — все это молодежь выставляла теперь напоказ, словно вполне дозволенные забавы; поэтому, сурово порицая современные нравы, старики не могли избавиться от некоторой доли зависти. Новейшие произведения искусства они считали недостойными этого высокого имени, новомодные теории представлялись им выражением варварства. С таким же пренебрежением относились они и к спорту. Зато с явным интересом отмечали они прогресс науки и то с любопытством и наивной гордостью, то с раздражением наблюдали, как техника все больше заполняла их материальный мир. Однако вся эта суета, утверждали они, убивает радость, и, сожалея об исчезновении привычных им, более спокойных форм цивилизации, они уверяли, окидывая взглядом окружающую жизнь, что весь этот фейерверк долго не продлится и ни к чему хорошему не приведет.

Можно было сколько угодно пожимать плечами, но их мнение было не только извечным брюзжанием стариков: между обществом 1910 года и обществом 1920 года легла более глубокая, более непроходимая пропасть, нежели между обществом 1820 года и обществом 1910 года. С Парижем произошло то, что происходит с людьми, о которых говорят: «Он в одну неделю постарел на десять лет». За четыре года войны Франция состарилась на целый век; возможно, то был последний век великой цивилизации, вот почему ненасытная жажда жизни, отличавшая в те годы Париж, напоминала лихорадочное возбуждение чахоточного.

Общество может быть счастливым, хотя в недрах его уже гаятся симптомы разрушения: роковая развязка наступает позднее.

Точно так же общество может казаться счастливым, хотя многие его члены страдают.

Молодые люди возлагали на старшее поколение ответственность за все уже возникшие или еще только надвигавшиеся беды, за трудности нынешнего дня, за смутные угрозы грядущего. Старики, некогда входившие в число двадцати тысяч или еще оставшиеся в числе этих избранных, слышали, как им предъявляют обвинения в преступлениях, в которых, по их мнению, они вовсе не были повинны: их упрекали в эгоизме, в трусости, в непонятливости, в легкомыслии, в воинственности. Впрочем, и сами обвинители не выказывали большого великодушия, верности убеждениям, уравновешенности. Но когда старики отмечали это, молодые вопили: «Ведь вы сами сделали нас такими!»

И каждый человек, словно не замечая сияния, исходившего от Парижа, следовал по узкому туннелю собственной жизни; он напоминал прохожего, который, видя перед собой лишь темную полосу тротуара, не обращает внимания на гигантский ослепительный купол, раскинувшийся над ним и освещающий окрестность на несколько миль вокруг.

## 2

Задыхаясь, с трудом перемещая свою огромную тушу, мамаша Лашом поднялась по лестнице метро и застыла посреди вокзальной площади.

— Да ты потише, Симон, — прохрипела она. — Мне за тобой не угнаться. Тебе, понятно, не терпится меня спровадить... Но ты все-таки не забывай, у меня ноги-то опухли.

От холода щеки у нее покрылись красными пятнами. Глаза были скрыты набухшими веками, из-под усатой верхней губы вырывались клубы молочно-белого пара и медленно расплывались в розном воздухе.

Симон поставил чемодан на асфальт и протер очки.

Вокруг них носильщики в синих халатах катили груженные тележки, суетливые пассажиры, кутаясь в пальто, переговаривались, подзывали такси. Автомобили в три ряда стояли вдоль тротуара, и свет, падавший сквозь стеклянный навес вокзала, играл на их никелированных частях.

— Вот, дожила до старости, — продолжала мамаша Лашом, — и в первый раз попала в Париж. А только уж больше не приеду сюда до самой смерти. Замучилась! Везде лестницы: у тебя лестница, в гостинице лестница, в метро лестница — везде... Бедные мои ноги!

Она возвышалась, как гора, равнодушно взирая на окружавшую ее вокзальную суматоху. Была вся в черном. Черное платье, ниспадавшее до пят, и почти такое же длинное черное пальто облекали громадное бесформенное тело; на плечах — черный платок. Даже серьги в ушах были черные — из черного дерева. Голову этого монумента украшала плоская шляпа, напоминавшая маленький венок из черного бисера, какие иногда возлагают на гроб.

Какой-то малыш, которого мать тащила за руку, с изумлением уставился на эту огромную старуху, зацепился ногой за ее чемодан, получил подзатыльник и заревел.

— Пора идти, мать, — проговорил Симон, едва сдерживая раздражение. — Приготовь билет.

Узкоплечий Симон ростом был ниже матери; его курносое лицо скрашивал очень высокий лоб.

Старуха наконец сдвинулась с места, заколыхалась ее грудь, заколыхались бедра.

— Если бы твоя жена захотела, — проговорила она, — я могла бы остановиться у вас. Не было бы лишних расходов и не так бы я уставала.

— Но ведь ты сама видела, какая у нас теснота, — ответил Симон Лашом. — Где, по-твоему...

— Ну, понятно, понятно... А только ты меня не разубедишь. Да уж все равно отцу скажу, что ты счастлив и живешь хорошо... О твоей жене упоминать не стану... По правде сказать, не люблю я твою жену.

Симону хотелось крикнуть: «Да я и сам не люблю ее, даже не знаю, почему я на ней женился!..» Толпа со всех сторон стискивала его, тесно прижимала к матери. Старуха заняла весь проход, где стоял контролер; приподняв подол платья, она неторопливо рылась в кармане нижней юбки, отыскивая билет. Даже ее «воскресный» наряд сохранил запах навоза и прокисшего молока. Симон невольно отодвинулся.

Наконец они вышли на перрон. Паровоз пассажирского поезда тяжело пыхтел, пар из трубы стлался над асфальтом. Окутанная этим теплым белым туманом, мамаша Лашом снова остановилась и сказала:

— И все-таки обидно! Сколько мы жертв ради тебя принесли. Неужели ты не чувствуешь себя счастливым?

— Я вам сто раз говорил, что вы не шли ради меня ни на какие жертвы! — вспыхнул Симон. — Учился я на грошовую стипендию и чуть не подыхал с голоду. Ведь вы за всю мою жизнь не дали мне ни одного су... Впрочем, нет: когда я уходил на военную службу, отец с важным видом вручил мне пятифранковую монету... И это все... Даже во время войны ты ни разу не прислала мне посылку...

— А как знать-то было наверняка, дойдет ли посылка? Тебя ведь могли убить, что тогда? Пропадай, значит, посылка?

Симон покачал лобастой головой. Гнев его стихал, натываясь на эту вязкую, непроницаемую, извечную преграду. Стоит ли говорить? Запах смазочного масла, дыма и сажи, вырывавшейся из

паровозной трубы, еще более осязаемый запах прокисшего молока, тяжесть чемодана, топот спешивших людей, вид этой старухи, доводившейся ему матерью, чувство собственного унижения, оттого что он снова дал втянуть себя в бессмысленный, бесконечный спор, — все было ему противно. А холод, пронизавший его на улице, точно тисками, сжимал виски.

— Да ты на меня не сердись, — продолжала мать, — мы очень даже гордимся тобой. Что правда, то правда. Когда ты задумал учиться, мы ведь не препятствовали. Мы тебя содержали до четырнадцати лет, из последних сил выбивались... Ты же хорошо знаешь, сколько в ту пору за поденщину платили батраку — пятьдесят, а то и пятьдесят пять су.. А потом ты уехал, как раз когда в возраст вошел и мог бы отрабатывать свой хлеб. А теперь вот ты живешь хорошо, одеваешься так, как ни твой отец, ни я никогда не одевались...

Она бросила взгляд, в котором сквозили и уважение и упрек, на самое обыкновенное пальто сына, на его синие брюки, уже начавшие пузыриться на коленях.

— ...Так уж ты постарайся посылать нам денег, если можешь, конечно. Все ж таки будет подспорье нам, а главное — твоему бедному брату, ведь мы должны о нем заботиться, ты же знаешь, в каком он состоянии.

— Как ты можешь просить меня об этом?! — возмутился Симон. — Тебе отлично известно, что я с трудом свожу концы с концами, я даже не знаю, удастся ли мне оплатить издание моей диссертации. А вам, слава богу, на жизнь хватает. У вас земли больше, чем вы в силах обработать, и вы бы давно разбогатели, не будь отец таким пьяницей. Зачем же... Зачем попрошайничать?! — снова взорвался он.

Мамаша Лашом приподняла свои дряблые веки, уставилась на сына круглыми тусклыми глазами. Симон подумал, что сейчас на эту великаншу нападёт приступ ярости, которая в детстве наводила на него ужас. Но нет, возраст смягчил нрав старухи, годы сделали свое. Она не хотела ссориться с сыном.

— Я ему свое, а он свое, — сказала она со вздохом. — Не понимаем мы больше друг друга. Раз уж ты надумал избрать себе легкое ремесло, пошел бы лучше в священники. Тогда б ты не стал для нас таким чужаком.

Боясь окончательно возненавидеть мать, Симон заставил себя подумать о том, что он, быть может, никогда больше ее не увидит.

И поступил как хороший сын, как сын, который, несмотря ни на что, почитает родителей и оказывает им всяческое внимание: он предложил старухе руку, чтобы ей легче было идти.

— Это только городские дамочки под ручку с мужчинами ходят, — запротестовала она. — Я всю жизнь ходила сама, без посторонней помощи и своей привычки не оставляю до гробовой доски.

Размахивая руками, она тяжело двинулась дальше и не произнесла больше ни слова, пока не уселась в вагон. Со стоном вскарабкалась она по ступенькам. Симон устроил мать на жесткой скамье, а чемодан положил в сетку.

— Никто там не тронет? — спросила старуха, с опаской глядя вверх.

— Нет, нет.

Мать посмотрела на вокзальные часы.

— Осталось еще двадцать минут, — пробормотала она.

— Мне пора идти, — проговорил Симон, — я и так уже опоздал.

Наклонившись, он едва прикоснулся губами к ее поросшей седыми волосками щеке.

Толстые, заскорузлые пальцы мамыши Лашом впились в запястье сына.

— Не вздумай только снова исчезнуть лет на пять — ведь ты так обычно делаешь, — проговорила она глухо.

— Нет, — ответил Симон. — Как только дела позволят, обязательно приеду к вам в Мюро. Обещаю тебе.

Мать все не выпускала его руки.

— А все-таки, — сказала она, — посылай ты нам кой-когда денег, хоть самую малость... Мы тогда по крайности будем знать, что ты о нас изредка вспоминаешь...

Когда Симон пошел по перрону к выходу, старуха даже не поглядела ему вслед. Она уже погрузилась в свои мысли, потом вытащила из-под верхней юбки желтый платок и, скомкав его, приложила к глазам.

### 3

На улице Любека под окнами небольшого особняка был настлан толстый слой соломы, чтобы заглушить шум колес. Обычай расстилать солому перед жилищем знатных людей, пораженных тяжелым недугом, уходил в прошлое вместе с лошадьми; он сохранился

лишь в обиходе нескольких старинных семей как торжественный обряд — предвестник близких похорон.

С минуту помедлив, Симон Лашом нажал чугунную кнопку звонка.

Возле дома стоял большой черный автомобиль с тускло светившими фарами; неподалеку, разминая ноги, прохаживался шофер.

Входная дверь отворилась. Старый слуга согнулся в поклоне при виде молодого человека.

В то же мгновение на лестничной площадке показалась Изабелла, племянница поэта.

— Идите скорее, господин Лашом, — проговорила она, подбирая упавшую на лоб прядь волос. — Он вас ждет.

Изабелле д'Юин было лет тридцать. На ней было темное шерстяное платье. Ее смуглое некрасивое лицо с острым подбородком осунулось от усталости, под глазами залегли глубокие тени.

Симон бросил на стоявший в передней огромный ларь в стиле Возрождения свое серое пальто с помятыми отворотами; тут уже лежали дорогие пальто, подбитые черным шелком, и шубы с воротниками из выдры, украшенные ленточкой Почетного легиона или розетками других орденов. Лашом торопливо протер очки.

Сквозь полуоткрытую дверь маленькой гостиной он разглядел двух важных худых стариков; они сидели, вытянув длинные ноги в остроносых ботинках.

— Он в полном сознании и сохранил ясность ума, — сказала Изабелла, поднимаясь по лестнице впереди Симона.

Достигнув второго этажа, они прошли через рабочий кабинет, где Симону так часто приходилось сидеть; тут было много китайских вещей: шкапулки, шкафчики, ширмы красного лака с причудливыми черными цветами; повсюду лежали книги — роскошные фолианты соседствовали с брошюрами, запылившиеся, истрепанные тома перемежались с новенькими, еще не разрезанными, валялись стопки каких-то бумаг и гравюры. Две большие увядшие хризантемы, должно быть, стояли уже несколько дней, ибо вода в вазе помутнела.

В соседней комнате умирал поэт Жан де Ла Моннери.

Его спальня была обставлена в стиле ампир; бархатная обивка мебели, тяжелые портьеры и гардины были блекло-желтого цвета, кусок шелка того же цвета служил абажуром для лампы в изголовье кровати и смягчал свет. На мраморной доске комода высился бюст



поэта, выполненный в 1890 году Ривольта; формовщик придал материалу вид бронзы, но ссадина на носу отсвечивала белым, и становилось ясно, что бюст гипсовый. Стоявшие на камине большие часы в мраморном футляре звонко отсчитывали секунды. До самой последней минуты, пока поэта не одолела болезнь, он работал у себя в спальне; стоявший возле окна ломберный столик с инкрустацией был завален листами бумаги, письмами, книгами.

В комнате царил застоявшийся запах болезни и старости, восточного табака, росного ладана для ингаляций, испарявшегося спирта, сладковатых микстур — запах одновременно едкий и приторный; воздух был нагрет раскаленными металлическими шарами, нарочно положенными в камин.

На широкой кровати со столбиками, украшенными бронзовыми кольцами, неподвижно лежал Жан де Ла Моннери. Глаза его были закрыты, под спину подложены подушки. Кожа на лице приобрела лиловатый оттенок, впалые щеки поросли седой щетиной, издали напоминавшей рассыпанную соль. По белой подушке извивалась длинная прядь волос, обычно покрывавшая лысое темя, из влажного воротника ночной сорочки выступала изборожденная глубокими морщинами худая шея. Простыни были скомканы.

Человек лет шестидесяти, в щегольском смокинге, с надменным и самодовольным выражением лица и тронутыми сединой волосами, гладко выбритый и румяный, сжимал пальцами запястье больного, не отрывая глаз от бегущей секундной стрелки на своих золотых часах.

Когда Симон приблизился к кровати, Жан де Ла Моннери приподнял веки. Блуждающий взгляд его серых глаз (левый глаз косил) остановился на вошедшем.

— Друг мой... как мило с вашей стороны, что вы навестили меня, — глухо произнес поэт; хриплое дыхание с шумом вырывалось из его груди.

Как всегда учтивый, он захотел представить посетителей другу:

— Господин Симон Лашом, молодой, но необыкновенно талантливый ученый...

Человек в смокинге и тугом крахмальном воротничке слегка кивнул и произнес:

— Лартуа.

— Нынче утром — исповедник, — задыхаясь, проговорил поэт, — вечером — вы, мой врач и верный друг, а вот теперь — мой ученик

и, я бы сказал, мой снисходительный критик... А сверх того возле меня неумолимо бодрствует добрый ангел, — прибавил он, обращаясь к племяннице. — Чего еще может пожелать умирающий?

Он вздохнул. Жилы на его шее напряглись.

— Полно, полно, все обойдется. Теперь, когда жар спал... — проговорил Лартуа, и в его голосе зазвучали профессионально бодрые интонации, не вязавшиеся с выражением лица. — Вы еще нас удивите, дорогой Жан!

— Масло в лампаде иссякло, — прошептал поэт.

В комнате на мгновение наступило молчание, слышно было только, как отсчитывает секунды стрелка мраморных часов.

Сиделка-монахиня, подобрав кверху и заколов булавкой края своего огромного чепца, кипятила в ванной комнате шприцы.

Левый глаз умирающего вопросительно уставился на Симона.

Вместо ответа молодой человек извлек из кармана пачку типографских оттисков.

— Когда она выйдет в свет? — спросил Жан де Ла Моннери.

— Через месяц, — ответил Симон.

Смешанное выражение гордости и печали появилось в глазах поэта и на мгновение оживило синюшное лицо.

— Этот юноша, — обратился он к врачу, — посвятил моему творчеству свою докторскую диссертацию... всю целиком... Послушайте, Лартуа, я себя прекрасно чувствую, отправляйтесь на свой званный обед. Славная вещь эти обеды! А потом, когда я уже буду...

Затянувшаяся пауза стала невыносимой.

— ...вы по праву займете освобожденное мною кресло, — закончил поэт.

Профессор Лартуа, член Медицинской академии, который в лице Жана де Ла Моннери терял одного из наиболее надежных своих сторонников при ближайших выборах во Французскую академию, огляделся вокруг и пожалел, что эти слова, прозвучавшие как торжественное напутствие, были произнесены почти без свидетелей. И он впервые обратил внимание на дурно одетого молодого человека с непропорционально большой головой, стоявшего рядом с ним и близоруко щурившего глаза, скрытые стеклами очков в металлической оправе; словно приглашая всех разделить свое восхищение умирающим, Лартуа бросил на невзрачного посетителя взгляд, означавший: «Какой удивительный ум, не правда ли? Какая возвышенная душа! И это в преддверии смерти!»

Он издал короткий смешок, как будто речь шла об обычной шутке.

— Оставляю вас в обществе вашей славы, — произнес он, дружески положив руку на плечо Симона. — Я заеду еще раз в одиннадцать часов.

И Лартуа вышел в сопровождении Изабеллы.

Длинными пальцами в темных пятнах Жан де Ла Моннери перебирал пачку оттисков.

— Как трогательно!.. Как трогательно!.. — прошептал он.

Вновь он медленно перевел взгляд на молодого человека, потом глаза умирающего затуманились.

— Как прекрасно это звучит: *слава*, — едва слышно произнес он.

#### 4

Лартуа спускался по лестнице слегка подпрыгивающей походкой, высоко подняв голову.

— Доктор, сколько ему еще осталось жить? — вполголоса спросила Изабелла, взглянув на профессора блестящими от слез глазами.

— Все зависит вот от этого, — ответил Лартуа, прикасаясь к левой стороне груди, — но, полагаю, можно говорить лишь о нескольких часах... Ведь сегодня он уже дважды терял сознание...

Они вошли в маленькую гостиную. Урбен и Робер де Ла Моннери поднялись им навстречу.

— Я могу только повторить вам то, что сейчас говорил Изабелле, — сказал Лартуа. — Роковой исход может наступить в любую минуту. Воспаление легких удалось приостановить, однако сердечная мышца... сердечная мышца... Наступают минуты, когда наша несовершенная наука уже не в силах ничего сделать. Если речь идет о таком необыкновенном человеке и друге, то это поистине ужасно... Дорогая девочка, не найдется ли у вас листка бумаги?

— Для рецепта? — спросила Изабелла.

— Нет, для бюллетеня о состоянии здоровья.

Братья умирающего молчали. Маркиз дважды или трижды покачал головой, окаймленной венчиком белых волос.

Генерал Робер де Ла Моннери, самый младший из четырех братьев Ла Моннери, подышал на красную розетку, украшавшую лацкан его сюртука, словно хотел сдуть пылинку.

Лартуа писал: «Вечерний бюллетень».

Внезапно рука его остановилась. В глазах вспыхнули два странных ярких и неподвижных огонька: Изабелла склонилась над столом, ее немного низкая грудь отчетливо вырисовывалась под шерстяным джемпером, утомленное тело издавало слабый аромат. Лартуа попытался заглянуть в глаза Изабелле, но она, всецело поглощенная горем, этого не заметила.

Присутствующим казалось, что Лартуа размышляет. Два неподвижных огонька медленно погасли, и врач продолжал выводить своим убористым и острым почерком: «Работа органов дыхания значительно улучшилась. Наблюдается частичная сердечная недостаточность. Прогноз пока неясен».

«Это удовлетворит всех, — подумал он, — профанов и моих коллег. Смерть не покажется неожиданной...»

Он подписался: «Профессор Эмиль Лартуа».

Постоянно видя свою фамилию в газетах, когда речь шла о знаменитых людях, находившихся на смертном одре, он чувствовал, что и сам становится знаменитым.

Лартуа направился в переднюю, надел шубу, поданную лакеем, натянул на красивые холеные руки замшевые перчатки и направился к черному лимузину, стоявшему у подъезда.

Несколько минут спустя сиделка прошла по длинному коридору и постучала в дверь, которая вела на половину госпожи де Ла Моннери. Не услышав ответа, она постучалась вторично.

— Войдите, — раздался нетерпеливый голос.

Госпожа де Ла Моннери сидела за столом, на котором лежали цветные карандаши и стояли баночки с красками, и лепила из хлебного мякиша куколок, а затем одевала их в платья из серебряной бумаги. Ее бархатный, подбитый ватой халат ниспадал на пол. Пышные седые волосы были чуть подкрашены слабым раствором синьки.

— Слушаю вас, сестра, — сказала она. — Говорите громче.

— Сударыня, ваша племянница поручила мне... — начала монахиня.

— Ах, моя племянница? — произнесла старая дама, резко перевернув плечами.

Выслушав монахиню, госпожа де Ла Моннери заявила с каменным выражением лица:

— При жизни он легко обходился без меня, отлично обойдется и перед смертью. Он причинил мне немало огорчений.

Затем добавила:

— Дочь уже предупредили?

— Да, сударыня, утром ей послали телеграмму.

— Значит, все идет как полагается, — заключила супруга поэта.

И она возвратилась к своим танцовщицам и пастушкам величиною с ногтей.

А в это время на первом этаже, в кухне, сидел, уронив руки на колени, старый лакей, в тот день облачившийся в поношенные брюки хозяина дома. Он то и дело вставал и подходил к приглушенно звонившему телефону (в аппарат был предусмотрительно заложен лоскут материи) или отпирал входную дверь, чтобы впустить запоздалого посетителя, желавшего оставить визитную карточку и осведомиться о состоянии больного. Эти ночные визиты были последним отблеском полувековой литературной славы Жана де Ла Моннери.

Заплаканная кухарка готовила легкий ужин — «ведь не могут же братья господина графа сидеть всю ночь без еды!»

Старый Урбен сказал, обращаясь к собравшимся в маленькой гостиной:

— Как быть с похоронами? Трудно принять в замке Моглев столько людей. И помимо всего прочего, это слишком далеко.

— У д'Юинов есть фамильный склеп на Монмартрском кладбище, так будет проще. Думаю, что Жюльетта не станет возражать, — откликнулся генерал.

Генерал был ранен на войне, одно колено у него не сгибалось, и он сидел, вытянув перед собой прямую, как палка, ногу.

Наступило молчание, слышались только шаги сиделки, возвращавшейся по коридору от графини.

Затем старший из братьев произнес:

— Не по душе мне это кладбище.

— Но ведь его оставят там лишь на время! — заметил младший Ла Моннери.

## 5

Жан де Ла Моннери чувствовал, что очки слегка давят на переносицу. Все его ощущения были теперь приглушены.

Лишь одно оставалось отчетливым и единственно важным: казалось, чья-то невидимая рука забралась в грудь под левую ключицу

и не переставая сжимает сердце. Он чувствовал, как отчаянно трепещет его жизнь, зажатая этой рукой и ниоткуда не получающая помощи.

Перед ним на попире, придвинутом к самым глазам, лежала печатная диссертация: «Жан де Ла Моннери, или Четвертое поколение романтиков».

В последний раз он вдыхал столь хорошо знакомый запах чуть влажной бумаги и свежей типографской краски, но запах этот казался больному скорее далеким воспоминанием, а не реальностью; рука его медленно перелистывала страницы — их было по шестнадцати в каждой пачке, составлявшей печатный лист. Взгляд скользил по ровным строкам; умирающий как будто хотел проникнуть в приговор грядущего. В его слабеющем мозгу это слово «грядущее» проносилось, подобно комете, которая оставляет светящийся след над беспредельными, темными, еще бесформенными материками.

Он понимал, что подошел к самому краю бездны по имени Небытие. Ей суждено навеки поглотить его, и от личности поэта Ла Моннери на земле останется лишь то, что смогут сохранить труды, подобные этой диссертации, — беглое изображение, плоское, как офорт, безжизненное, как гипсовый бюст, лживое, как история.

Неизбежная узость, ограниченность всякого исследования с особой силой заставила его почувствовать всю безмерность того, что должно было уйти вместе с ним. Сколько раз его наполняли восторгом внезапные и яркие озарения, сколько раз его мысль, блуждая по бесконечным лабиринтам, казалось, вот-вот отыщет ответ на извечные вопросы и сколько раз с таким трудом обретенная уверенность неумолимо исчезала! И теперь вся жизнь ума и души, какую не выразишь словами, должна была безвозвратно исчезнуть, раствориться без остатка во Вселенной. А постоянное, почти врожденное удивление, вызываемое мыслью о том, что мир столь велик, а человеческие деяния столь ничтожны! Кому дано воссоздать все это?

Только он один мог бы сказать, чем и как жил, к каким источникам припадал. Только он один знал, что принадлежит к числу тех немногих людей, которые отважились дойти до крайних пределов, огражденных невидимой стеной; он, Жан де Ла Моннери, почти каждый день натыкался на преграду из черного мрамора, замыкающую область сознания, подолгу бродил вдоль этой стены

в поисках выхода, пытался взбираться на нее, заглянуть в сферу бесконечного...

«Именно благодаря этим мгновениям, — подумал он, — я и стал великим человеком, да, только благодаря им... Не случайно бывали ночи, когда я терял сознание за письменным столом».

И все же — вопреки этим мыслям — он созерцал сквозь очки свой образ с тихой, снисходительной улыбкой, с невольным удовольствием, какое испытывает каждый человек, глядя на свой портрет.

И как сквозь слой ваты, донесся до него собственный голос:

— Отлично, отлично... Просто поразительно.

Стеснение в груди на минуту ослабело, словно рука, сжимавшая сердце, пошевелила онемевшими пальцами, затем безжалостные тиски сомкнулись еще сильнее.

«Не надо думать так напряженно, — сказал себе умирающий, — не надо доходить до черной стены...»

Он продолжал перелистывать страницы диссертации, и имя, дата или заглавие стихотворения то и дело вызывали в памяти далекое прошлое. Перед его мысленным взором внезапно вставали воспоминания, ранее скрытые, погребенные под глубоким слоем жизненных впечатлений.

Жан де Ла Моннери вновь видел юношу в светлых панталонах и вышитом жилете; юноша этот обожал верховую езду, отлично фехтовал и презирал все окружающее. Дальнейшая жизнь подтвердила, что он был прав в своем презрении! Юноша надевал по вечерам сорочки с накрахмаленным, плоеным жабо и курил длинные итальянские сигары с воткнутыми в них соломинками, часто бывал у Леконта де Лиля и чувствовал себя в силах создать великое произведение, способное жить в веках. До сих пор еще в ящике комода, на котором стоял его бюст, хранились две или три сорочки тех времен, они уже давно стали ему тесны и совсем пожелтели!

На озеро, как лист, слетает с ветки птица...

Поэт почувствовал гнев и отвращение: этой строкой, бросившей ему в глаза, когда он переворачивал страницу, начиналось стихотворение, принесшее двадцатичетырехлетнему юноше славу. «В то время, — писал Лашом, — еще можно было стать известным, написав лишь одно стихотворение». Да, именно оно и вошло во все антологии, его читали на всех литературных утрениках, приводили

в письмах все поклонницы, комментировали все салонные льстецы. Неужели он, Жан де Ла Моннери, за целую жизнь не написал ничего более важного, более значительного? Неужели все девять томов его поэтических произведений были столь невесомы, что можно было беспрестанно, на протяжении всего жизненного пути и вплоть до самой могилы ссылаться все на те же тридцать небрежно написанных стихотворных строк, которые ныне даже он сам больше не считал дерзкими? Теперь они представлялись ему попросту старомодными. О ленивая публика, упрямо признающая лишь творения юности! О скупцы, не желающие вновь выражать свой восторг!

Да и сюжет этого стихотворения был позаимствован у Сюлли-Прюдом. Как-то раз они беседовали после обеда. Сюлли рассказывал о замыслах, роившихся в его голове, и Ла Моннери на лету подхватил высказанную им идею. Заметил ли кто-нибудь заимствование? Да, Лашом указывал на близость темы, но, по его словам, автор «Напрасной нежности» был вдохновлен Жаном де Ла Моннери и в том же году обратился в своем творчестве к центральной теме стихотворения «На озеро, как лист...».

Сюлли-Прюдом... Сперва друг, затем раздраженный соперник, почти враг... Что пользы восстанавливать истину? Он, Ла Моннери, ничем ему не обязан.

— У этого Лукреция буржуазии не имя, а какое-то нелепое младенческое прозвище, — чуть слышно прошептал умирающий.

Он чувствовал, что ему не следует раздражаться — боль под ключицей становилась от этого сильнее.

И все же, прочтя название главы «Предшественник символистов», он не мог удержаться от возмущенного жеста — казалось, он одним взмахом руки отметаает всех своих последователей, затем он презрительно произнес:

— Все это эпигоны!

С жадностью биографа Симон Лашом напряженно прислушивался к словам, которые слетали с уже посиневших губ поэта, и молча повторял их про себя, чтобы не забыть.

Но вот взгляд Жана де Ла Моннери привлекло приведенное целиком стихотворение, заглавием которому служило короткое посвящение: «Моей подруге, 16 января 1876 года». Серые глаза долго, так долго не отрывались от этих строк, что Симон подумал: «Должно быть, старик задремал». Но нет, сквозь стекла очков был виден



## СОДЕРЖАНИЕ

### СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО

*Перевод Я. Лесюка, М. Кавтарадзе, Ю. Уварова*

Пролог .....	7
Глава I. Смерть поэта .....	13
Глава II. Похороны .....	40
Глава III. Замужество Изабеллы .....	80
Глава IV. Семья Шудлер .....	136
Глава V. Семейный совет .....	225
Глава VI. Старцы .....	283

### КРУШЕНИЕ СТОЛПОВ

*Перевод Н. Кудрявцевой-Лури*

Напоминание об усопших великих родов .....	321
Глава I. Охота слепца .....	325
Глава II. Театр де Де-Виль .....	385
Глава III. Крах Шудлера .....	442
Глава IV. У разверстой могилы .....	510
Глава V. Тишина замка Моглев .....	550

### СВИДАНИЕ В АДУ

*Перевод Я. Лесюка*

Глава I. Бал чудовищ .....	599
Глава II. Разрыв .....	645
Глава III. Возраст страданий .....	685
Глава IV. Во дворцах Трианона .....	767
Глава V. Возвращение в Моглев .....	834
Эпилог .....	852